

НИНА КАТЕРЛИ

Ц
В
Е
Т
Н
Ы
Е



ОТКРЫТКИ

Нина Семеновна Катерли
ЦВЕТНЫЕ ОТКРЫТКИ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1986, 304 стр.
План выпуска 1986 г. № 61

Редактор *Ф. Г. Кацас*
Худож. редактор *А. С. Орлов*
Техн. редактор *Г. В. Белькова*
Корректоры *Ф. Н. Аврунина* и *Е. Я. Лапинь*

ИБ № 5.08

Сдано в набор 19.11.85. Подписано к печати 01.04.86. М 42504. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,96.
Уч.-изд. л. 16,72. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1529. Цена 1 р. 10 к. Ордена
Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение.
191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3,

НИНА
КАТЕРЛИ

ЦВЕТНЫЕ
ОТКРЫТКИ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1986

ББК 84. Р7
К 24

Художник Ася Векслер

К $\frac{4702010200-027}{083(02)-86}$ 61-86

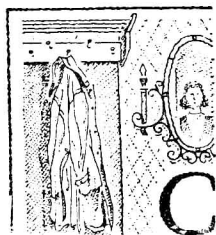
ББК 84. Р7

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.



РАССКАЗЫ

ПРОЩАЛЬНЫЙ СВЕТ



Согнутая почти пополам, старуха эта вместе со своей палкой похожа была на шпильку для волос. Она двигалась прямо на Мартынова, и он видел сгорбленную ее спину, обтянутую вытершимся светлым пальто, видел макушку серой вязаной шапки и руку в красной детской варежке, сжимающую набалдашник короткой палки.

Старуха двигалась как бы на ощупь: сперва выбрасывала вперед палку, потом медленно, как улитка, тянула к ней свое тело.

Кончался февраль. Мокрые груды крупнозернистого, перемешанного с песком снега вдоль тротуаров были уже весенними; весенним было и солнце, слепящее, разбивающееся о лужи, о стекла троллейбусов, и как его отсветы — ярко-оранжевые апельсины в сетках, то тут, то там мелькающие в толпе. Но более всего весенними казались звуки: хруст под ногами, воробьиный галдеж, резкая высокая нота с середины мостовой, где двое рабочих в желтых спецовках методично ударяли ломом о трамвайный рельс. Трамвай стоял рядом и нетерпеливо позвякивал.

Небо над Сокольниками было далеким и бледным.

Мартынов поискал, куда бы поставить грузный портфель, примостил его на мусорную урну и расстегнул

пальто. Потом поправил шапку, предварительно отерев со лба пот; в метро была зверская жара, да и вообще чувствовал он себя сегодня не по погоде тепло одетым, тяжелым и нездоровым.

День начался с того, что за завтраком Татьяна, падчерица, дожевывая бутерброд, сказала матери:

— Мне туфли на весну надо, а плащ не надо, буду бабушкин носить, он мне как раз.

Жена быстро взглянула на Мартынова, он отвел глаза. Ничего себе сюрприз: дали девчонке ключи от чужой квартиры — нужно было срочно взять там кое-какие документы, — и, пожалуйста, рылась в шкафу, примеряла одежду... Некрасиво. И совершенно ясно, откуда эта простота нравов.

— Зачем же ты трогала без спросу бабушкины вещи? — тихо спросила жена.

Татьяна вскинула голову, секунду непонимающим взглядом смотрела на мать и вдруг, вся покраснев, вскочила из-за стола. Мартынов понял: сейчас будет скандал. Будет весь набор: рыдания, грубости, хлопанье дверью — все, с чем и строгостью, и лаской они с женой безуспешно боролись последние два года и что внезапно прекратилось, когда Татьяна стала студенткой. Думали, повзрослела... Рано радовались, вон стоит — худющая, губы дергаются.

— Какая же ты, мама... какая ты... — начала было она, но осеклась, еще выше вздернула подбородок и решительной походкой промаршировала из комнаты. Именно промаршировала — метровыми шагами, размахивая правой рукой, точно солдат на плацу.

Через минуту в передней грохнула дверь.

Жена молчала. Мартынов молчал тоже. Ему было неловко: скандал-то произошел как бы из-за него — Танька надевала плащ его матери, жена почувствовала, что ему это неприятно, и вот... Тут, слава богу, зазвонил телефон, жена взяла трубку, и, пока она говорила, Мартынов собрался уходить. Он уже знал — день будет плохой. И верно, — в министерстве, куда он, как было условлено, явился точно к девяти пятнадцати, все сразу пошло наперекосяк: вызвавший его Михеев, оказывается, должен был идти на совещание к начальнику объединения.

— Не журись, — сказал он, подмигнув Мартынову, — можешь в институт сегодня не возвращаться. Был в ми-

нистерстве — и все дела. Погода хорошая, позвонишь какой-нибудь приятельнице и — на лоно.

Этот бледнолицый, точно сам он никогда в жизни не был «на лоне», желеобразный этот Михеев со своими пошлостями, произносимыми тихим — «услышат!» — голосом, как всегда, вызвал у Мартынова желание сказать грубость, но он, как всегда, промолчал. Зато по дороге к метро (чтобы все-таки поехать в институт) составлял в уме хлесткие фразы, которыми мог бы поставить на место этого деятеля. Фразы получались беспомощными и корявыми. Очевидно, потому, что Мартынов очень хорошо себе представлял, как, выговаривая их, он весь багровеет, на лбу выступает пот, на лице — неестественное, отчаянное, словом, жалкое выражение, а в голосе отчетливо слышится истерика. От этого он еще больше разозлился и внезапно решил в институт не ехать. «Их сиятельство сами разрешили. Я ему не мальчишка — гонять каждый день взад-вперед через всю Москву!»

Жена наверняка еще не ушла, у нее в поликлинике сегодня вечерний прием, с двух. Дойти до Тверского бульвара — пять минут. Но Мартынов упрямо шагал к метро, он вдруг решил, что сегодня наконец-то сможет поехать в Сокольники. Домой.

Домой... Последние пять лет Андрей Николаевич Мартынов жил в квартире своей жены на Тверском бульваре. Эту ухоженную трехкомнатную квартиру в старом московском доме, обставленную и обжитую еще бабушкой и бабушкой жены, он успел полюбить, быстро привык, и было ему здесь уютно и счастливо. И все-таки про этот свой дом он всегда говорил: «У нас на Тверском», а про однокомнатную квартиру в Сокольниках, где жил до женитьбы вдвоем с матерью, — «дома».

С утра город был вполне зимним, весна наступила внезапно, и произошло это, похоже, как раз за те пятнадцать минут, которые Мартынов парился в метро до Сокольников.

...Пока, выйдя наконец на воздух, он приводил себя в порядок, на светофоре вспыхнул зеленый свет, почти не различимый на ярком солнце.

...В тот день солнце светило тоже. Мартынов стоял тогда, пожалуй, точно на этом самом месте, готовился перейти улицу — к троллейбусу. Помнится, опаздывал в местную командировку на завод, поехал на метро до

Сокольников и подумал еще, что хорошо бы заскочить на минуту к матери, но не было и минуты, да и не получилась бы минута. Зайти домой можно на обратном пути, а лучше послезавтра, в субботу, потому что сегодня надо еще вернуться в институт, должны звонить из Челябинска. И только он так подумал, как увидел мать.

В расстегнутом белом плаще она приближалась к нему по тротуару и была уже довольно близко, но вдруг резко повернула и направилась к павильону метро. Можно было успеть окликнуть, но Мартынов опять с досадой подумал, что испытания на заводе должны начаться через пятнадцать минут. Он растерянно стоял у края тротуара, а мать, миновав метро, уходила от него по бульвару. Листья еще не начинали желтеть, только что наступил сентябрь. Да, это было... шестого сентября, точно — шестого, в четверг, а в субботу она умерла.

...На светофоре давно горел красный. Машины стояли. Торопясь, Андрей Николаевич перебрался на ту сторону улицы. Он задыхался, ноги были тяжелыми. «Старею...» При матери подумал бы иначе: «Заболеваю...» Теперь, без нее, он в семье самый старший.

Жена оказалась, как обычно, права: идти туда в первый раз одному не следовало, — повернув за угол и прошагав еще полквартиры, Мартынов остановился. Под ложечкой жало, вся левая половина груди ныла. Валидола он, конечно, опять не взял, из принципа не взял: если уже сейчас, в сорок семь лет, выходить на улицу с валидолом... А сдохнуть в сорок восемь ты не хочешь?... А-а, пустяки. Мнительность. Ипохондрия. И погода: наверняка упало атмосферное давление.

Сорок семь лет... Матери было бы семьдесят четыре. Зеркальное отображение... Жила одна. Утром спускалась по лестнице, шла в булочную. Потом — за молоком, потом... («Ну, что ты, Андрюша, я очень много гуляю...») Вечером — телевизор. Принять снотворное — и в постель... Господи, сколько в Москве старух! Вон еще одна, эта без палки, руки бесполезно висят вдоль тела. Идет еле-еле, неуверенными мелкими шажками. Глаза огромные, светлые, перепуганные. Рот приоткрыт, как у птенца. Это сердце — не хватает кислорода... Вот когда впервые всерьез почувствуешь, что и тебе не удастся этого избежать, обмануть судьбу, открутиться, вот тогда и становится по-настоящему страшно... А этой старухе,

птенцу, ей сейчас страшно, что она сейчас задохнется...

Мартынов все же на всякий случай поискал в кармане валидол: а вдруг жена положила? Не нашел. Вот такие дела, Андрей Николаевич, экс-Андрюша, распаренный, с отечным лицом и седыми волосами, пожилой — да! пожилой! — чиновник от науки (вон портфель-то аж взбух). Чего тебе, болван, бояться? Что ты можешь потерять? В юности — да что в юности! — еще десять лет назад было огромное количество желаний. Например, влюбиться. Еще хотелось поехать летом в Форос, плавать с маской. Купить машину. И чтобы назначили завсектором. А также сдать наконец кандидатский минимум. Да просто в ресторан пойти, в конце концов! В лучшем costume и с красивой женщиной. В «Прагу».

Все сбылось, и, заметьте, с избытком. Был не только в Форосе — в Неаполе. Защитил кандидатскую. Назначили (хоть и не доктор!) начальником самой крупной и важной в институте лаборатории. До сорока двух лет прекрасно гулял в холостяках, а потом влюбился в прелестную женщину и увел от мужа. Машина — черт бы ее побрал! — имеется и уже успела надоесть. Кроме хлопот, никакого удовольствия. Все сбылось... Ну и что? Нет, гневить бога нечего, все нормально, но где тот восторг, то замирание души, когда, допустим, где-нибудь на лесной поляне вдруг оглядишься по сторонам и даже слезы к глазам подступят — до того кругом хорошо. Такое ведь бывало не только в детстве. Впрочем, наверное, все правильно, защитная реакция организма: с годами душа покрывается бронированной пленкой, иначе просто нельзя, иначе стопроцентная гарантия инфаркта, потому что свиданий с красотами природы все меньше, а с чиновниками вроде Михеева — все больше.

Что же все-таки осталось? Для души? Телевизор, как у матери? Танцы на льду и «В мире животных»? Злорадное удовлетворение, что в споре с замдиректора ты, а не он, опять оказался прав? В который раз уже, между прочим! А все потому, что тот маразматик. Вот еще в чем ужас старости: человек не хочет смириться с собственной непригодностью, бьется до последнего, надеется обмануть окружающих, а главное, себя самого. Тут, конечно, не злиться надо, а пожалеть... Бедная мать, ей вот тоже казалось, будто в ее советах, как воспитывать Татьяну, заключена бог весть какая мудрость...

Мартынов замедлил шаг: до дому осталось пройти

всего квартал. Вот маленький продуктовый магазин, мать его звала почему-то «универсамчик»... Да. Так мы же еще не выяснили, какие у нас в жизни имеются положительные моменты... Возможно, будущей весной состоится командировка в Чикаго. Хочется? Еще бы! Интересно? А как же! Получится — буду очень рад. «Очень рад»... Только и всего! А не выйдет, перебежмся. До будущей весны, между прочим, надо еще дожить... Раньше бы ночей не спал, все мечтал бы да представлял, как полетит через океан да как стюардесса объявит: «Сейчас наш самолет совершит посадку в аэропорту Кеннеди». Это — раньше. Усекаешь?

Еще — культурная жизнь: гости, театр... Почему бы не пойти, скажем, в «Современник»? Вполне можно пойти, вполне... Впрочем, сегодня по телевизору очень ответственный хоккей.

Это сейчас, а еще через десять лет?.. Бедная мама... Одно утешение: дожила до семидесяти четырех и не успела стать немощной, а то ведь хватит кондрашка — и будь любезен. И не в семьдесят четыре, а... уже завтра. Поползешь, миленький, как та старуха с палкой, похожая на улитку. Или как другая — со ртом, точно у задыхающегося птенца. Матери нет, подходит ваша очередь, Андрей Николаевич. «Что вы! Я здесь не стоял!» — «Нет уж, извините, гражданин, вы стояли, я запомнила: полный, с портфелем. Пожилой. Проходите, проходите, нечего задерживать, другие ждут».

...Ну, а все-таки, какие еще-то радости жизни? Сейчас, сегодня? Семейное счастье? А что, это есть. В доме мир и согласие, зря ты, мама, волновалась. И Танька, несмотря на свою невероятную «сложность», поступила на биофак. По химии и физике занимался с ней сам, и теперь: «Андрей Николаевич, вы просто гений», — а про родного папашу и не вспомнит никогда. Сегодняшняя сцена за завтраком, по сути дела, пустяки, обычные штучки затянувшегося переходного возраста. Ну, и, конечно, нервы, эта надрывная дружба с Людой не может не сказываться...

Вспомнив про Люду, Мартынов поморщился. Не нравилась, давно уже не нравилась ему эта дружба, хотя на первый взгляд все выглядело — не придерешься — очень благородно. Люда давно и тяжело больна: ревмокардит, большую часть времени вынуждена проводить дома. Татьяна сочувствует — прекрасно. Но вот есть в ее поведении... как бы это точнее сказать? Что-то... не

вполне естественное, экзальтация какая-то, жертва. Чувства меры не хватает. Уже два года Танька ведет образ жизни инвалида: спорт, поездки за город, театр — все заброшено. «Люда не может, и я не пойду». Почему?! Спросишь: «Чем вы там целыми днями занимаетесь?» — «Разговариваем». — «О чем?» — «Так... обо всем...» Можно больше не спрашивать — ясно, о ерунде. Пустая болтовня, вода в ступе. И результат налицо, девчонка деградирует прямо на глазах: круг интересов все уже и уже, даже одеться толком и то не умеет. Если учесть Людины запросы и культурный уровень — все понятно: закон общающихся сосудов. Вот и получается: на поверхности — подвиг во имя дружбы, а копнуть поглубже... Сложно все это, тут и искреннее сострадание, но ведь и поза, самолюбование, тщеславие даже. Пытались как-то влиять: «Люду жалко, помочь, конечно, нужно. Но... разумно! Во всем должен быть смысл. И мера. Мы с мамой, например, могли бы попытаться устроить Люду в санаторий, это — реальное дело, а не... самосожжение. Ты должна жить нормальной жизнью, кстати, тогда и Люде общение с тобой принесло бы больше пользы. И кто тебе сказал, что разрешается иметь только одну подругу? Люда больна, это трагедия. Но для чего ты должна коверкать свою жизнь? Ради бога, навещай Люду, но пусть у тебя будет и другая компания...»

Завершился тот разговор, конечно же, скандалом и угрозами уйти из дому. Отступились. Но Мартынов был уверен — ничем хорошим эта истерическая преданность не кончится, девчонка теряет время, треплет нервы, а самое печальное то, что рано или поздно красивая поза ей все равно надоест, захочется нормальной жизни. И вот тогда будет ссора и тяжелая травма для Люды, а для Татьяны — чувство вины на всю жизнь. Как это объяснить, не обижая? Как доказать, что разумные пределы должны быть во всем? Что жизнь не театр, где можно без конца играть благородную роль. Печально. Танька — хорошая девчонка, умная, красивая... Ладно. Хватит об этом, все равно ничего не сделать — заколдованный круг. Вот и сердце опять забúхало.

...Солнце распоясалось вконец, кругом все стремительно таяло, текло, плыло, несло, звенело и сверкало, с грохотом обрушивалось с крыш.

Андрей Николаевич открыл тяжелую дверь парадной, поднялся на второй этаж, привычно нащупал в кармане ключ.

Он боялся. Страшно было войти в квартиру, не грустно — именно страшно, точно там затаилась опасность и караулит.

Полгода он не был здесь.

Тем кошмарным субботним утром они с женой и падчерицей преспокойно пили кофе, когда раздался телефонный звонок, и Мартынов, сняв трубку, сперва долго не мог понять, кого спрашивают, кто говорит и о чем. Звонила Клава, соседка по дому в Сокольниках. Не здороваясь, сразу начала плакать и кричать, все время повторяя: «Увезли, увезли». Переспросив три раза, Андрей наконец сообразил: плохо с матерью, ее только что забрала «скорая помощь», которую вызвала эта самая Клава. «Скорая» поехала в объединенную больницу в Измайлово...

Мартынов сбежал по лестнице, но забыл дома ключи от машины. Бросился назад, столкнулся в подъезде с женой, сунул руку в карман и нашел ключи, открыл машину, вставил ключ в зажигание. Мотор не завелся.

В бешенстве он еще и еще раз поворачивал ключ, зная, что толку все равно уже не будет, только посадишь аккумулятор. В это время жена поймала такси.

Дорога до больницы выпала из памяти начисто, зато хорошо запомнился подвал, где помещался приемный покой, — длинный темноватый коридор, слева вдоль стены белые стулья, на один из которых жена усадила Мартынова, он почему-то послушно сел и стал ждать, пока она что-то выясняла у плосколицей тетки за справочным окошком.

Жена подошла к Андрею Николаевичу очень скоро, на лице ее было растерянное, какое-то бестолковое выражение, и с несвойственным ему раздражением Мартынов вдруг закричал:

— Да надо же было не два слова, а все подробно?! Где и что?! Какой диагноз? Что ей можно? Курицу? Творог? Что?!

Жена помотала головой, всхлипнула и опустилась на соседний стул.

— Еще в машине, — сказала она, — по дороге в больницу. Инфаркт.

Мартынов не был в Сокольниках после того дня ни разу. Все похоронные хлопоты жена взяла на себя. Даже теперь, столько времени спустя, она старалась оградить его от всего, что могло причинить боль. Однажды Андрей Николаевич услышал, как она ругала дочь:

— Прекрати демонстрировать, что ты убита горем! Это бестактно, Андрей потерял мать, у него действительно огромное несчастье, жалеть надо его, а не себя!

— А мне бабушку жалче! — огрызнулась Татьяна и выбежала.

Вела она себя, конечно, в те дни, и без того тяжелые, прямо скажем, не совсем... адекватно. И хотя Мартынова трогало, что девочка так убивается по его матери, он понимал — скорбь ее не вполне естественна, преувеличена. Когда он женился, Таньке было уже двенадцать, вряд ли за пять лет она успела так полюбить чужую старуху, с которой и виделась-то считанные разы. Однако ругать ее все же не стоило — эгоцентризм присущ этому возрасту, всем им искренне кажется, что их переживания самые сильные и самые главные. Относиться к этому надо терпимо, так он тогда и сказал жене.

Прошло полгода, но до сих пор не было решено, что делать с квартирой, где Андрей Николаевич оставался прописанным. То ли меняться, то ли оставить для Татьяны, когда выйдет замуж.

Чем больше проходило времени, тем, как ни странно, недостовернее делалось сознание, что матери нет. Оглушительное горе постепенно утихало, а жизнь в доме на Тверском бульваре шла как прежде. Из нее исчезли только телефонные разговоры с матерью да поездки в Сокольники — раз в неделю и ненадолго: выгрузил продукты — картошку, крупу, постное масло, словом, тяжести, — выпил, посматривая на часы, чаю, и пора. В следующий раз посижу подольше, приеду на весь день... Да, пожалуй, в последнее время иллюзия, что ничего не произошло, бывала иногда почти полной. И все-таки жизнь стала другой.

Вернее, другим становился сам Мартынов. Ему теперь казалось, что до смерти матери он так и не успел по-настоящему сделаться взрослым, с годами менялась только внешность, а начиная с этого сентября процесс внутреннего повзросления, а точнее, постарения пошел с невероятной скоростью. Из Андрюши, которым он всегда себя чувствовал, Мартынов вдруг превратился в Андрея Николаевича, больше того — начал хворать стариковскими болезнями: сердце, давление, прострел. Полезли непривычные мысли обо всей этой бодяге, почему-то даже о пенсии, которой он раньше никогда не интересовался, поскольку в обозримом будущем она ему не грозила. Теперь обозримое будущее как-то спрессовалось,

придвинулось. Одна была надежда: такие настроения — явление временное, месяц-другой, и все пройдет.

Но сейчас он стоял на лестничной площадке, сжимая в кармане ключ, и не смел открыть дверь. Казалось, стоит шагнуть туда, как старость станет реальностью. Выйти назад тем же, что вошел, не удастся. Там вот оно и начнется, «обозримое будущее», после чего непосредственно...

Опять заныло в левой части груди. Наверняка у матери есть валидол, и вообще дома можно раздеться, лечь... У матери есть валидол... «Есть» или «был»? Но он же никуда не делся, значит, «есть». Как же «есть», когда у нее уже ничего не может быть?.. Какая чушь! Бред.

Мартынов решительно открыл дверь.

Однако стоило ему переступить порог, как опять возникло ощущение: все неправда. Здесь ничто не изменилось, даже воздух привычно пах нафталином и какими-то духами, запах этот он помнил с детства. Правда, постель матери застелена по-другому, не по ее. Пыль на столе. И на пианино.

Мартынов прошел в ванную, где в висячем шкафчике у матери хранились лекарства. Что-то здесь показалось ему странным, он не понял что, стал искать валидол, нашел и положил под язык. Выходя, оглянулся и увидел в стаканчике зубную щетку. И белую расческу. Вот оно что: когда мать куда-нибудь уезжала, она всегда... Она забыла... О, господи...

Андрей Николаевич вернулся в комнату. Проходя мимо кровати, услышал хруст под ногой. Это была пустая ампула, он раздавил ее. Матери в то утро делали укол. Перед тем, как увезти. Какой укол? Как вообще все это было? Почему в квартире оказалась Клава? Кто ее позвал? Почему я не расспросил ее обо всем подробно? Помнится, на похоронах она что-то рассказывала, но запомнилось только, что мать была в полном сознании, когда ее увозили... «Она, уже когда носилки в машину ставили, сказала: «Спасибо, Клавочка», а потом на парадное наше так долго-долго смотрела...» О чем она думала в ту минуту?

Мартынов опустил на колени и аккуратно собрал в ладонь осколки ампулы. Не поднимаясь, достал пепельницу со стола и положил их туда. Потом на мгновение припал лицом к шершавому покрывалу и тут же под-

нялся, откашлялся, пошел по комнате, открыл зачем-то платяной шкаф.

В шкафу, как всегда, был полный порядок. На полках стопками лежало чистое белье. Вот его давнишняя рубашка, он надевал ее иногда, если нужно было помочь матери по хозяйству. Материны блузки, комбинации... Жена смеялась: «Ты у меня, Андрюша, типичный маменькин сынок. И называешь все, как в ее молодости называли. «Комбинация». Кто так сейчас говорит?»

На распаялке висел белый плащ.

...Андрей стоял у перехода, а мать шла по тротуару прямо к нему. Она не видела его, шла в незастегнутом белом плаще, в тупоносых туфлях без каблуков и серых носочках («Не модно? Чепуха! Я старая, мне наплевать!»). Она шла довольно быстро, размахивая в такт шагам старой коричневой сумкой, которую держала в правой руке. Левая была засунута в карман плаща. Андрей рванулся к матери, хотел окликнуть, но она резко повернула и зашагала прочь. Было очень тепло. Солнце светило мягко, уже по-осеннему тихо и неназойливо. И небо было другое, не такое, как сегодня. Очень синее и казалось ближе. Листья еще не начинали желтеть. Мать уходила по бульвару, а Мартынов стоял и растерянно смотрел ей вслед...

На улице таяло, блестела на солнце лакированная голая ветка у самого окна.

На середине письменного стола лежали очки матери. Рядом — школьная тетрадка, про которую она как-то сказала: «Дневник склеротика».

«Понимаешь, ни черта не помню! Выпью утром резерпин, а через полчаса ломаю голову — принимала или нет? Вроде бы нет. И иду за новой таблеткой. Так ведь можно и отравиться. А тут еще чище — поставила суп, зачиталась и забыла. Сгорел. Буду все записывать... Можно, конечно, забыть записать...»

Мартынов открыл тетрадь.

«Компот закипел в 14.40, — прочел он, — выключить в 15.00». «15.00. Компот выключен». Он улыбнулся. «Утром обязательно позвонить Андрею про повестку из военкомата». «Принять гемитон». «Сказать Таисии Аркадьевне, что книга в библиотеке для нее отложена». Какая

Таисия Аркадьевна? Мать вечно занималась чужими делами... «Принять папаверин». «Завтра пенсия. Быть дома». «Полить в среду кактусы».

Кстати, а где они, кактусы? Всегда стояли на окне... Соседки взяли? Постой, постой... Какие-то кактусы он видел недавно в комнате Татьяны на Тверском... «Зайти в собес».

Страниц пять занимали такие записи. Лекарства. Пенсия. Собес. Опять лекарства. Да... Бедная моя мамка...

И вдруг он увидел ее лицо. Впервые увидел с тех пор, как... с того дня, когда был здесь в последний раз, привозил какие-то продукты. Тут он, помнится, тогда и спел, за письменным столом, а мать стояла у окна.

Вот она повернулась и сказала что-то.

Теперь он отчетливо видел ее глаза, совсем не стариковские, ярко-синие на загорелом смеющемся лице.

Мать медленно подняла руку (указательный палец выпачкан пастой от шариковой ручки), поправила волосы. Гладко причесанные, тонкие и легкие, совсем белые.

Он резко перевернул страницу. Дальше шел пустой лист, но Мартынов машинально листал дальше. И внезапно наткнулся:

«20 марта.

Решила заносить в эту тетрадь некоторые свои мысли и впечатления. Конечно, не для потомков, кому нужны маразматические философствования! Просто нравится писать, этакая старческая графомания. Кажется, будто все, что приходит в голову, очень значительно и важно. И, главное, правильно. Вот в чем беда всех стариков и моя тоже. Ты знаешь, как надо жить, и спешишь поделиться с другими, они-то уж точно не знают, раз постоянно делают глупости! Ты хочешь им помочь, а они пренебрежительно отмахиваются. Отсюда обиды и конфликты. Вчера думала, почему мы, старики, так уверены, что все понимаем правильно, видим мир таким, какой он есть. Думала и додумалась: мы действительно видим мир верно и прекрасно в нем ориентируемся. Только мир-то с возрастом делается другим, меньше и контрастнее, исчезают оттенки, полутона, гаснут некоторые звуки. Из многомерного и цветного все становится плоским и черно-белым. Как на экране. Маленький квадратик, а для тебя — вселенная, и в ней все очень просто, ясно и четко. Никакой путаницы: тут — верх, тут — низ, это —